



Иван



БУШИН

Окаянные дни



Окаянные дни // Эксмо, М., 2006  
ISBN: 5-04-002265-4, 5-699-19418-5  
FB2: "shum29", 17.11.2008, version 1.0  
UUID: a5eb97f0-06a1-102c-99a2-0288a49f2f10  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

**Третий Толстой**  
(Воспоминания)

**Иван Бунин**

**Третий Толстой**

«Третий Толстой» – так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождение по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых – граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности (ничуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой «советской» России, где только чекисты друг с другом советуются, особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценариев о Распутине, об интимной

жизни убиенных царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным «советским» писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф да еще Толстой. Недаром «сам» Молотов сказал на каком-то «Чрезвычайном восьмом съезде Советов»:

«Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской!»

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и *ласково*, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспеч-

ным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, а все знали это и все-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, – признак натуры упорной, настойчивой, – постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь «салоне» сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись на другой день,

тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.

Был ли он действительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно, – например, так:

«А. Н. Толстой родился в 1883 году в бывшей Самарской губернии, и детство провел в небольшом имении второго мужа его матери, Алексея Бострома, который был образованным человеком и материалистом...»

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году, в бывшей Самарской губернии...» Но где именно? В имении графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, где прошло детство. Кроме того, полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой, так, точно он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россию. Сам он за

все годы нашего с ним приятельства и при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношению ко мне, тоже никогда, ни единым звуком не обмолвился о графе Николае Толстом... За всем тем касаюсь я его родословной только по той причине, что, до своего возвращения в Россию, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им и в литературе и в жизни. Страсть ко всяким житейским благам и к приобретению их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россию, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас же принялся не только за писание гнусных сценариев, но и за сочинения пасквилей на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал «в долг» в эмиграции, и за нелепейшие измышления о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русские «белогвардейцы».

Совершенно правильны, вероятно, сведения о том, когда он родился и где прошло его детство. Но что было дальше? По свидетельству его советских биографий, снабженных его собственными автобиографическими показаниями, было вот что:



«В 1905 году, во время первой русской революции, Толстой писал революционные стихи. В следующем году, когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет...»

Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революционные стихи – и вдруг выпустил всего через год после того и как раз тогда, «когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нечто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов», которую потом будто бы стал скупать и жечь!

Однако, даже и такие биографические сведения ничто перед тем, что следует дальше:

«Первая мировая война поставила перед Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок...»

Поистине только в Москве можно лгать так глупо! Толстой – и «масса» вопросов, да еще «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов! А тут

явились еще и новые, а кроме того, и «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру; но иных что-то не помню.

«В великую Октябрьскую революцию Толстой растерялся... Уехал в Одессу, зиму прожил там. Весной 1919 г. уехал в Париж. О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобиографии так: „Это был самый тяжелый период в моей жизни...“ В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошел в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже... Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских расстрелов и расправ... Он писал на родине еще и сатирические картины нравов капиталистической Америки, о которых гениально писал и великий советский поэт Маяковский...»

Где все это напечатано? И на потеху кому? Напечатано в Москве, в одном из главнейших

советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый мир», где сотрудничают знатнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: «Совершенное одичание белогвардейцев... Кошмары белогвардейских расправ и расстрелов...» Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого расстреливали? И почему французское правительство *смотрело* сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочарование Толстого, который, очевидно, был все-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уже сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров и решил бежать в Россию, где теперь никакие сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не расстреливают, а Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое «предсмертное» веселье во времена пребывания в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерического разврата в весельи и роско-

ши: так по крайней мере утверждает некто Юрий Жуков, парижский корреспондент Москвы, напечатавший в другом московском ежемесячнике, в журнале «Октябрь», статью под заглавием «На западе после войны»: этот Жуков сообщает, что по большим парижским бульварам то и дело проходят францисканские монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, и с утра до вечера «фланируют завитые и напомаженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах». Этот Жуков и про меня зачем-то солгал: будто я «маленький, сухонький, со скрипучим голосом и с лицом рафинированного эстета». Когда-то в России говорили: «Врет как сивый мерин». Далекие наивные времена! Теперь, после тридцатилетнего, неустанного, ежедневного упражнения «Советов» во лжи, даже самый жалкий советский Жуков сто очков дает вперед любому сивому мерину! Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время «первой русской революции» и пер-

вой мировой войны «массу» всяческих душевных и умственных терзаний, и о том, как он «растерялся» и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актерски, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть не рыдал Горький.

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «Мы, дети страшных лет России, забыть не можем ничего!» – в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков.

Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, – как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слышал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революции», да скоро бросил – то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-«богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до «декадентской» его книжки, то я читал и, насколько помню, ничего декадентского в

ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочно русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, всегда приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман «Хождение по мукам», начатый печатаньем в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию, к большевицким требованиям, что все «белые» герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми «красными». Известно, кроме того, что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославления Сталина, затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуны, затем пасквильная по-

весть о парижских «акулах капитализма» из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием «Черное золото»... Что такое его «Сатирические картины нравов капиталистической Америки», я не знаю. Никогда не бывши в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горький, Маяковский... Горький съездил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусием назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, будто бы бывшего всегда ненавистным ему, Горькому. Горький дал такую картину этого будто бы «дьявольского города»:

«Это – город, это – Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа. Улицы его – это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пицци, живые люди; вагоны железной дороги – огромные черви; локомотивы – жирные утки...»



После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: «моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

– Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он действительно пробормотал в ответ:

– Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была при-

чиной довольно скорого нашего приятельства: граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро сдружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

– Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысынах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

– Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна с таким артистически раскинутым воротом, под-

вязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы... Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью? Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда – *один*, видите ли, символист, другой – марксист, третий – футурист, четвертый – будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковский носит женскую желтую кофту, Андреев и Шалыпин – поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами. Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», – а мне опять со смехом: «Ку-

пил на толкучке у Сухаревой башни!»

Так до самого захвата большевиками власти в октябре семнадцатого года были мы с ним в мирных приятельских отношениях, но потом два раза поссорились. Жить стало уже очень трудно, начинался голод, питаться мало-мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их – подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобие коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковский, Брюсов и прочие) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные, произнося все заборные слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся, и мы поругались. А затем появилось в печати произведение Блока «Двенадцать». Блок, как стало известно впоследствии, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до «февральской революции» так:

«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою ис-

тинную природу. И в разреженном воздухе горький запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз...»

И еще так, столь же дьявольски поэтично:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал – цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут даже и для Блока все-таки определились вскоре цвет и запах нового «шквала», хотя и раньше не требовалось для этого особо зоркого зрения и обоняния. Тут царский период русской истории кончился (при доброй помощи солдат петербургского гарнизона, не желавших идти на фронт), власть перешла к Временному Правительству, все царские ми-

нистры были арестованы, посажены в Петропавловскую крепость, и Временное Правительство почему-то пригласило Блока в «Чрезвычайную Комиссию» по расследованию деятельности этих министров, и Блок, получая 600 рублей в месяц жалованья, – сумму в это время еще значительную, – стал ездить на допросы, порой допрашивал и сам и непристойно издевался в своем дневнике, как это стало известно впоследствии, над теми, кого допрашивал. А затем произошла «Великая октябрьская революция», большевики посадили в ту же крепость уже министров Временного Правительства, двух из них (Шингарева и Кокошкина) даже убили, без всяких допросов, и Блок перешел к большевикам, стал личным секретарем Луначарского, после чего написал брошюру «Интеллигенция и революция», стал требовать: «Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочинил «Двенадцать», написал в своем дневнике для потомства очень жалкую выдумку: будто он сочинял «Двенадцать» как бы в трансе, «все время слыша какие-то шумы – шумы падения старого мира». Московские писатели устроили со-

бране для чтения и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню, кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалось вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом слышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:

– Господа, вы знаете, что происходит в России на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, которые творит русский народ с начала февраля прошлого года, с февральской революции, которую все еще называют совершенно бесстыдно «бескровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чем не повинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слез вдов и сирот заливают русскую землю. Убивают все, кому не лень: солдаты, все еще бегущие с фронта ошалелой ордой, мужики в деревнях, рабочие и

всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, еще в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, все еще продолжают убийства, бегут домой захватывать и делить землю не только помещиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают все, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станций, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет... Из нашей деревни пишут мне, например, такое: мужики, разгромивши одну помещичью усадьбу, оципали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губернии, и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу, хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стал



еще бешеной орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нее. А вот на днях прибежал из Симферополя всем вам известный Н., – я назвал точно его фамилию, – и говорит, что в Симферополе рабочие и дезертиры ходят буквально по колено в крови, живьем сожгли в паровозной топке какого-то старенького отставного военного. Не странно ли вам, что в такие дни Блок кричит на вас: «Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочиняет «Двенадцать», а в своей брошюре «Интеллигенция и революция» уверяет нас, что русский народ был совершенно прав, когда в прошлом октябре стрелял по соборам Кремля, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толстопузый поп целые столетия водкой торговал, икая!» Что до «Двенадцати», то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок нестерпимо поэтич-

ный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опошлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому не понятных, литературно выдуманых символических, мистических стихов, он написал дешевый, плоский трюк: он берет зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днем на улицу из боязни быть ограбленным и раздетым догола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, буйной солдатней, но ведь в конце концов все ее деяния святы разгульным разрушением прежней России и что впереди нее идет Сам Христос, что это Его апостолы:

*Товарищ, винтовку держи, не  
трусь!  
Пальнем-ка пулей в Святую Русь,  
В кондовую,  
В избяную,  
В толстозадую!*

Почему Святая Русь оказалась у Блока только избяной да еще толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды поставившие не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением «грабить награбленное». И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным Собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржуем», над обывателем, над священником:

*От здания к зданию  
На канате – плакат:  
«Вся власть Учредительному Со-  
бранию!»  
А вон и долгополый —  
Что нынче невеселый,  
Товарищ поп?  
Вон барыня в каракуле —  
Проскользнулась  
И – бац – растянулась!*

«Двенадцать» есть набор стишков, часту-

шек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И все это прежде всего чертовски скучно бесконечной болтливостью и однообразием все одного и того же разнообразия, надоедает несметными ай, ай, эх, ах, ах, ой, ой, тратата, трахтатах... Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное:

*Буржуй на перекрестке  
В воротник упрятал нос...  
Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос,  
И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост...  
Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!  
Тратата! А Ванька с Катькой в  
кабаке,  
У ей керенки есть в чулке!  
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,  
Мою попробуй поцелуй!  
Катька с Ванькой занята —  
Чем, чем занята?*

*Снег крутит, лихач кричит,  
Ванька с Катькою летит —  
Електрический фонарик  
На оглобелях...  
Ах, ах, пади!*

Это ли народный язык? «Електрический»!  
Попробуйте-ка произнести! И совершенно  
смехотворная нежность к оглоблям, — «огло-  
бельки», — очевидно, тоже народная. А даль-  
ше нечто еще более народное:

*Ах, ты Катя, моя Катя,  
Толстоморденькая!  
Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкером гулять ходила,  
С солдатьем теперь пошла?*

История с этой Катькой кончается убий-  
ством ее и истерическим раскаянием убий-  
цы, какого-то Петрухи, товарища какого-то  
Андрюхи:

*Опять навстречу несется вскачь,  
Летит, вопит, орет лихач...  
Стой, стой! Андрюха, помогай,  
Петруха, сзади забегай!  
Трахтахтахтах!*

*Что, Катька, рада? – Ни гугу!  
Лежи ты, падаль, на снегу!  
Эх, эх,  
Позабавиться не грех!  
Ты лети, буржуй, воробышком,  
Выпью кровушку  
За зазнобушку,  
Чернобровушку!  
И опять идут двенадцать,  
За плечами ружьеца,  
Лишь у бедного убийцы  
Не видать совсем лица!*

Бедный убийца, один из двенадцати Христосовых апостолов, которые идут совершенно неизвестно куда и зачем и из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, уже ревет, рыдает, раскаивается, – ведь уж так всегда полагается, давно известно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться:

*Ох, товарищи родные,  
Эту девку я любил,  
Ночки черные, хмельные  
С этой девкой проводил!*

«Ты лети, буржуй, воробышком», – опять буржуй и уж совсем ни к селу, ни к городу,

буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, – а дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черные, хмельные – от этого то заборного, то сусального русского стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:

*Из-за удали бедовой  
В огневых ее очах,  
Из-за родинки пунцовой  
Возле правого плеча,  
Загубил я, бестолковый,  
Загубил я сгоряча...*

Ах!

В этой архирусской трагедии не совсем ладно одно: сочетание толстой морды Катьки с «бедовой удалью ее огневых очей». По-моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем кстати и «пунцовая родинка», – ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей Петруха!

А «под занавес» Блок дурачит публику уж совсем галиматьей, сказал я в заключение. Увлечшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Свя-

тую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пес – опять пес! – пляшущий (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убийц:

*Так идут державным шагом —  
Позади – голодный пес,  
Впереди – с кровавым флагом,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —  
Впереди – Иисус Христос!*

Как не вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, которого Мефистофель привел в «Кухню Ведьм»:

*Кого тут ведьма за нос водит?  
Как будто хором чушь городит  
Сто сорок тысяч дураков!*

Вот тогда и закатил мне скандал Толстой: нужно было слышать, когда я кончил, каким



петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, – большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюционер и т. д.

Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавием «Скифы», написанное («созданное», как неизменно выражаются его поклонники) тотчас после «Двенадцати». Сколько было противных любовных воплей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографического «узорного плата до бровей»! Но вот наконец весь русский народ точно в угоду косоглазому Ленину объявлен азиатом «с раскосыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам, Блок говорит от имени России не менее заносчиво, чем говорил от ее имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги») и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера:

*Мильены – вас. Нас – тьмы, и  
тьмы, и тьмы.*

Попробуйте сразиться с нами!  
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы  
С раскосыми и жадными очами!  
Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перла,  
И вы, глумясь, считали только  
срок,  
Когда наставит пушек жерла!  
Да, так любить, как любит наша  
кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в мире есть лю-  
бовь,  
Которая и жжет и губит!  
Мы любим плоть – и вкус ее и  
цвет,  
И душный, смертный плоти за-  
пах...  
Виновны ль мы, коль хрустнет  
ваш скелет  
В тяжелых, нежных наших ла-  
пах?  
Привыкли мы, хватая под уздцы  
Играющих коней ретивых,  
Ломать коням тяжелые крест-  
цы  
И усмирять рабынь стропти-  
вых...

В этих космических угрозах, в этой литературе, которой я привожу лишь часть, есть кое-что совсем непонятное, что значит, например, «копя и плавя наши перла»? Все остальное что ни слово, то золото: тьмы азиатов, раскосые и жадные очи, вкус и смертный запах плоти, тяжелые, нежные лапы, хрустящие людские скелеты и даже ломаемые конские крестцы, хотя ломать их за игривость коней есть дело не только злое и глупое, но и совершенно невозможное физически, так что уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» – грубая подделка под Пушкина («Клеветникам России»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это ведь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря, нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время «создания» «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за все существование России, развалилась вся русская армия, защищавшая ее от немцев, и поистине «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, – «Попробуйте сразиться с нами!» – удирали с фронта во все ло-

патки, а всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест-Литовске знаменитый «похабный мир»...

Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно: за год до февральской революции я оказал большую услугу некоему приват-доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекции, ярому социал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольные революционные брошюры, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станции Орша, за которой находились области оккупированные), и он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем зачем-то туда. Так мы и уехали из Москвы, – навсегда, как оказалось, – и какое это было все-таки ужасное путешествие! Поезд шел с вооруженной охраной, – на случай нападения на него последних удиравших с фронта «скифов» – по

ночам проходил в темноте и весь затемненный станции, и что только было на вокзалах этих станций, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть «музыкой революции»!

В тот год власть большевиков простиралась еще на небольшую часть России, все остальное было или свободно или занято немцами, австрийцами и с их согласия и при их поддержке управлялось самостоятельно. В тот год уже шло великое бегство из Великой России людей всех чинов и званий, всякого пола и возраста – всякий, кто мог, бежал в еще свободную и голодающую Россию. И вот оказался через некоторое время Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандиевская, с двумя детьми, потом явился и он сам. Тут он встретился со мной как ни в чем не бывало и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще не знал в нем:

– Вы не поверите, – кричал он, – до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев,

засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собрании по поводу идиотских «Двенадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно решил удрать и при том как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинел русский народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и в поездах, такие речи хороших, бородатых мужиков насчет не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберемся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, – вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое-что продавали

разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам, – Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, – но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцию, потом в Болгарию, в Сербию и, наконец, во Францию чуть не через год после того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев с большевиками, освобождены были Добровольцами Деникина, – его главная армия чуть не дошла в ту, вторую осень до Москвы, – но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут же навеки простились с Россией.

Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную

толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница-албанец, не знавший Черного моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русский моряк, заменивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай – «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бессмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской Академии), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не



умрете от этого душа», – сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помещение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже в пароходе. Что было перетерпено – не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас

ползли вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал „Грядущая Россия“ (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашен ре-

дактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо...»

В первом письме были еще такие строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажививать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов 18–20. Написано – одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно – сценарий... Франция – удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом... Большевики здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия – всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе, – тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников – Яковлев, Малавин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писате-

лей – Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу – в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но этого мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили несколько «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты с отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстыми. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

– Господи, до чего хорошо живем мы во

всех отношениях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

– В какой суматохе?

– Ну я уж не знаю в какой: главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь – истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек, считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А, будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.

– Я не дурак, – говорил он мне, смеясь, – тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджач-

ных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны...

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение и выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

– Понимаете, какая дурацкая история вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодий, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:

«У нас нынче буйабез от Прьюнье и такое Пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю – быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком – выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:

– Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков, – в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, – теперь бледнеют, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, – иней опустил всю ее беличью шапочку, беличий



воротник шубки, ресницы, уголки губ, – и я просто поражен был ее юной, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

– Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно

по причине того, что напишу завтра... Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть „тительные“ денежки – рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает – надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши...»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующие письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, – Боже, здесь все иное. Очень по-

хоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане, марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь была построена на песке, на политике, на авантюре, – революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают, как никто. Большеви́зма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, – все черное. Живем мы в пансионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем – Наташа с детьми в Фрейбург, я – в Мюнхен... Здесь всю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывая ответы на письма. Я удивляюсь – почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города девять месяцев: жил бы баринном, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать – четырнадцать марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, – меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех на-

дежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда, – не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине уже около тридцати издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой *А. Толстой*».

Очень значительна в этом письме строка «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» Значит, он тогда еще и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне.

\* \* \*

В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, – зачем-то приехав в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, – издали увидел меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? *А. Толстой*». Я встал и пошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы со-

шлись, тотчас закричал своим столь знакомым мне смешком и забормотал: «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» – спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

– Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

– Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

– Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, вообража-

ешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, – меня ждали те, с кем я пришел в кафе, – он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече, и не позвонил, – «В суматохе!» – и вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского...

*1949*